

ПУБЛИКАЦИИ «МОСКОВСКОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ», СВЯЗАННЫЕ С ГИБЕЛЬЮ ПУШКИНА*

Аннотация: В статье анализируются публикации «Московского наблюдателя», посвященные Пушкину, напечатанные после его гибели: критический разбор С.П. Шевырева, интерпретирующий последние творения Пушкина, и поэма азербайджанского поэта Мирзы Фатх-Али-Ахундова «На смерть Пушкина», опубликованная в журнале в 1837 году, которая интересна как глубоким содержанием, так и своей оригинальной особенностью.

Ключевые слова: комментарий, восточная поэзия, афористичная форма.

Оригинальное произведение «На смерть Пушкина. Сочинение в стихах современного персидского поэта Мирзы Фатх-Али-Ахундова» (1812-1878) было опубликовано в журнале впервые, вскоре после трагической гибели поэта [1]. Вот выдержки из статьи о писателе, помещенной в Краткой литературной энциклопедии, относящиеся к этому факту: «Первое значительное произведение – элегическую поэму «На смерть Пушкина» – Ахундов посвятил трагической гибели русского поэта. Поэма была переведена на русский язык в мае 1837 г. декабристом А.А. Бестужевым (Марлинским) и опубликована в 1837 в журнале «Московский наблюдатель». Оригинал поэмы на персидском языке был обнаружен и опубликован в советской печати в 1936 году» [2].

Публикация в журнале сопровождалась следующим комментарием, который достаточно интересен: «Мы получили это замечательное персидское стихотворение, вместе с переводом, сделанным по-русски самим автором, от Ивана Ивановича Клементьева, пребывающего в Тифлисе. Вот несколько строк из письма, при котором прислано Г. Клементьевым это стихотворение. «Вам, конечно, будет приятно довести до сведения публики то впечатление, которое Певец Кавказа и Бахчисарая произвел на молодого Поэта Востока, подающего во многих отношениях прекрасные надежды. Оригинал нарочно написан Арабским шрифтом (курами), как легчайшим для чтения... Я уверен, что жесткость и дикость выражения некоторых мест будут извинены

достаточно духом Востока, столь противоположным европейскому; сохранить его в возможной верности было главной целью сочинителя при переводе, почти без исправления мною оставленном; и я считал необходимым удержать яркий колорит Ирана и блеск игривый сравнений, иногда более остроумных, чем верных... Неизъяснимо утешительно для сердца Русского видеть благотворные следы гражданственности в той части света, где мерцает первая образованность мира, в той стране, где могучая природа расточает свое величие и богатство среди племен, еще гнетомых ярмом страстей диких. И эта гражданственность, это постепенное усмирение бурных сил человека, враждебных природе, обильно изливающей дары свои, совершается Русскими». Вполне разделяя чувства Г. Клементьева, и благодаря его искренне за доставление нам прекрасного цветка, брошенного рукою Персидского поэта на могилу Пушкина, – мы от души желаем успехов замечательному таланту, тем более что видим в нем сочувствие к образованности русской» [1, 397-399].

Г. Клементьев, приславший произведение, по-своему определяет его художественные особенности, в частности, говорит о «жесткости и дикости» его выражений. Является ли чувствительность по отношению к произведению поэта, вышедшего из «племени», «гнетомого дикими страстями». Становится понятно, что Россия им позиционируется как европейская держава, далеко ушедшая в своем развитии от той части света, где лишь «мерцает» «первая образованность мира». Редакционный комментарий, несомненно, более уважителен по отношению к сочинителю. Небольшая по объему поэма начинается со своеобразного зачина: «Не предавая очей сну, сидел я ночь и говорил сердцу: о рудник жемчуга тайн! Что случилось, что соловей цветника твоего отстал от песен? Что случилось, что попугай красноречия твоего замолк?» [1, 397]. Это вступление сразу погружает читателя в неповторимую атмосферу восточной поэзии, поражает своим пышным словесным «декором». Диалог с собственным сердцем позволяет автору придать особый исповедаль-

* © Рамазанова Г.Г.

ный тон стихотворению. Художественные приемы достаточно своеобразны, но сквозь затейливую образность лирики проглядывают вполне традиционные приемы «легкой поэзии». Увенчанная цветами наступающая весна (попутно необходимо отметить, что в произведении дано множество объясняющих текст примечаний, в частности, оговаривается тот факт, что «должно вспомнить, что за Кавказом весна открывается в феврале») не радует сердце лирического героя. Мастерство поэта покоряет читателя: очарователен и многозначен образ «огнистой почки на розовом кусту», живописно-изысканна метафора: «лилия и ясмин пьют вино росы из чашечек тюльпана». Несомненным свидетельством литературной образованности персидского поэта может служить и вплетение в художественную ткань поэмы упоминания о «зефире, принесшем благоухание». Появляются в стихотворении и вечные и неизменные соловей и роза. Лирическая мысль движется дальше, и поэт вспоминает о творческом вдохновении, которое ныне его оставило.

Затем в стихотворении возникает резиньяция по поводу неодолимости судьбы, ее несправедливости. Даже сладостная мечта отныне не может обмануть поэта. Поэт вводит в поэму элегическое противопоставление весны и осени, которое тоже звучит достаточно традиционно. Затем автор обращается, как представляется, уже непосредственно к читателю: «Разве ты, не ведающий мира! Разве не слышал о Пушкине, главе Собора Поэтов?» [1, 400]. Автор дает волю восточному красноречию, определяя вершинное место Пушкина в русской поэзии. Интересно, что, упоминая корифеев русской литературы, Ахундов стремится почти в афористичной форме определить значение и оценить тот вклад, который каждый из них внес в развитие российской словесности. Нельзя не заметить, что оценки эти достаточно общие, умозрительные, однако в них явно показана некая преемственность в развитии русской литературы, а заодно продемонстрирована незаурядная литературная эрудиция автора:

«Ломоносов красою гения укрощал обитель Поэзии, но его (Пушкина) мечта в ней утвердилась./Хотя Державин завоевал державу Литературы, но для управления и устройства ее избран он (Пушкин)./Карамзин наполнил чашу вином знания: он (Пушкин) выпил вино сей наполненной чаши.../Такого быстро-постигающего сына, такового даровитого сына не рождали четыре матери от семи отцов» [1, 400-401].

Дальнейшее повествование по содержанию и образным решениям представляет собой своеобразный плач по погибшему гению. Ахундов обвиняет в его трагической гибели общество. Представляется, что обобщающее слово «родители» имеет в виду именно это. Именно «родители» «прицелились в него стрелой смерти», по их велению «черное облако» «побило плод дерева его жизни» градиной. Необычно звучит уподобление пули градине, но эта метафора поддерживает все образные решения поэмы. Красной нитью по всему повествованию проходит мысль о том, что феномен Пушкина также естественен и органичен для русской словесности, как природное явление.

Плач по безвременно ушедшему певцу разворачивается дальше, автор преисполнен глубокой скорби, здесь возникает традиционный мотив – мотив безжалостного, «змеенравного» рока, не пощадившего поэта. Важна мысль о том, что скорбь по Пушкину объединила Россию, всех «старых и малых» «сдружила с горестью». В подтексте этого плача возникают аллюзии, связанные с творчеством поэта. Очевидно, что автор хорошо знал поэзию Пушкина – и его «Песнь о вещем Олеге», и знаменитый «Талисман», и поэму «Бахчисарайский фонтан». Персидский поэт обращается к своему погибшему собрату: «Так! не спас тебя от оков колдовства этой старой чаровницы талисман твой.../Фонтан из Бахчисарая посылает праху твоему с весенним зефиром благоухание роз твоих» [1, 402]. Эта своеобразная поэтическая эпитафия азербайджанского поэта выражала общее чувство скорби современников Пушкина.

Такие же чувства преобладают в статье С.П. Шевырева о номере журнала «Современник», прочитанного и проанализированного вскоре после трагической гибели Пушкина. В своей статье «Критика. Перечень наблюдателя» [3] он говорит о том, как российская литература откликнулась на весть о гибели Пушкина, с горечью констатируя, что, наконец, все с непростительным опозданием осознали, какую роль играл Пушкин в отечественной словесности. Здесь попутно Шевырев касается своей традиционной темы – засилья «торгового направления» в литературе: «В то время, когда одна корысть, почти один двигатель журнальной литературы у нас, сталкивает в одном издании людей совершенно разнородных и по мнениям и даже по языку, в то время приятно видеть, что одна бескорыстная, чистая мысль соединяет в один круг лучших писателей наших. Мы уверены,

что еще многие принесут Современнику дань свою. Все они собрались на могилу Пушкина... Но при этом грустно подумать: неужели надобно было совершиться такой ужасной, такой незаменимой утрате для того, чтобы родилось столь благородное, новое соединение в избранном сословии наших Литераторов?» [3, 311-312]. Здесь Шевырев повторяет утвердившееся мнение о том, что лишь понимание невосполнимости утраты сплотило всю Россию в горестном отчаянии.

Главная мысль статьи Шевырева, к которой он пришел, анализируя поздние произведения поэта, сводится к тому, все творения Пушкина последних лет неизменно окрашены светлыми христианскими чувствами. Приведу несколько цитат из статьи: «*Лицейская годовщина* внушена тем неизменным чувством дружбы, которое составляло самую резкую черту в нравственном характере Пушкина. Дружба была для него чем-то святым, религиозным ...Его *Молитва*, дышащая всею красотой Христианского покаяния, умиляет сердце другим чувством, которое, как мы видим, постоянно покоилось в душе его, но никогда не преобладало в поэзии: это чувство – религиозное. Неужели даром, такое вдохновение осенило душу Поэта незадолго до его кончины? Он верно и прежде слышал очистительную молитву покаяния; но отчего же, в последнее время жизни, эта молитва отозвалась таким сочувствием в душе его и сказалось ему на всегдашнем его языке?...Одно из последних стихотворений Пушкина свидетельствует нам, что глубокое религиозное чувство всегда таилось на светлом дне души его: оно так сильно обнаружилось и в последние минуты его кончины» [3, 313-314].

Представляется, что одним из косвенных доказательств этих утверждений критика может служить общность оценок, причем оценок восторженных, данных ими обоими (Шевыревым и Пушкиным) душевспасительным книгам Сильвио Пеллико, известного итальянского «карбонаро» «О Должностях Человека», «Об Обязанностях человека». Здесь хотелось бы попутно сказать несколько слов о самой книге и об ее оценке Шевыревым, высказанной в статье критика «Перечень Наблюдателя» [4] несколько ранее. Статья критика, по сути, развернутая библиография, некий рекомендательный список для читателей. Книга Пеллико носила ярко выраженный проповеднический, назидательный характер, и это глубоко импонировало Шевыреву, который видел предназначение словесности в воспитании, «вознесении к идеалу». При-

чем исключительно важным в данном случае он считал то, *кто* проповедует. Такое право приобретает лишь тот, кто своей мученической жизнью его заслужил: «Если бы книга Обязанностей не вышла вслед за книгою жизни, она показалась бы нам общими местами, сухим, произвольно-догматическим уроком, который бы мы прослушали без внимания. Тот может только говорить о правилах жизни, кто вынес их из страданий, кто сохранил в мучениях душу свою. Из уст такого человека правило жизни не есть общее место, но гремящее слово, глагол призванного, потому что оно согрето верою жизни, чувством испытанным. Эта книга есть лучший поступок современной эпохи; перед нею нельзя не склониться с почтением» [4, 91-92]. Забегая вперед, следует отметить, что эта мысль вызвала возражение Пушкина: «Неужели его книга, вся исполненная сердечной теплоты, прелести неизъяснимой, гармонического красноречия, могла бы кому то ни было, и в каком бы то ни было случае показаться *сухой* и холодно догматической?» [5].

Далее Шевырев призывает читателя: «Прочтите ее с тою же верой, с какою она писана, и вы вступите из темного мира сомнений, расстройства головы с сердцем в светлый мир порядка и согласия... Вы как-то соберете себя, рассеянного по мелочам страстей, привычек и прихотей; вы приведете себя к одному знаменателю человека в обществе, и в вашей душе вы ощутите два чувства, которые, к сожалению, очень редки в эту эпоху: чувство довольства и чувство надежды. Как мало книг современных, возбуждающих эти два ощущения. Как мало аккордов полных, настраивающих душу к согласию. Диссонанс – вот звук эпохи» [4, 92-93]. Автор приводит пространные выписки из книги. Действительно, книга учит добру, состраданию. Слово проповедника касается многих сфер человеческих отношений, в первую очередь – семейных. Обширные выписки составляют большую часть статьи Шевырева. Полные благородства, духовной чистоты эти цитаты, по замыслу критика, должны были оттенить пошлость некоторых отечественных произведений.

Пушкин, как было сказано, тоже восторженно принял эту книгу, и это обстоятельство представляется вполне закономерным. Рассматривая взгляды Пушкина последних лет его жизни, авторитетный исследователь его творчества, В.Д. Сквозников, касается попутно отношения поэта к книге Сильвио Пеллико: «У Пушкина последнего года жиз-

ни есть произведение, явно игнорируемое представителями обеих тенденций (имеются в виду ортодоксально-большевистская и либерально-антибольшевистская. – Г.Р.) Это крошечный трактат о Боге и человеке, точнее о служении высшему благу. Рассуждение оформлено в виде рецензии на еще только обещанный выход нового перевода сочинения Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека» и помещено в «Современнике».... Пушкин открыто признается в своей преданности учению Христа на глазах у той общественности, которая щеголяла своим безверием или, по крайней мере, равнодушием к религии и которая уже хоть и сдержанно, но осудила его более ранние признания в преданности престолу и государству («Стансы», «Друзьям». «Клеветникам России»).... И если столь недвусмысленно перед лицом современников и потомков он заявляет о своей вере и убеждении, значит, это подлинная вера и убеждение» [6].

Таким образом, обоим писателям привлекла в книге проповедь добра, милосердия, сострадания, им обоим был близок назидательный тон книги. Взгляды Шевырева и Пушкина сближаются здесь до полного совпадения, и именно поэтому свои размышления о книге Пеллико Пушкин заключает цитатой из статьи Шевырева, выражая полное согласие с ним.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Московский наблюдатель, 1837, часть 11, № 1-4. – С. 397-404.
2. Краткая литературная энциклопедия. – М., 1962. – Т. 1. – С. 375.
3. Шевырев С.П. Критика. Перечень наблюдателя // Московский наблюдатель, 1837, часть 12. – С. 311-326.
4. Московский Наблюдатель, 1836, часть VI, № 1-4. – С. 77 – 105.
5. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 16-ти т.т., М.-Л., 1937-1949. – С. 99.
6. Сквозников В.Д. Пушкин. Историческая мысль поэта. – М., 1998. – С. 165, 168-169.

G. Ramazanova

PUSHKIN AND “MOSKOVSKIY NABLYUDATEL” (MOSCOW OBSERVER) (PUBLICATIONS FROM THE JOURNAL, WITH REGARD TO THE POET’S DEATH)

Abstract: The article analyses the publications from the “Moskovskiy Nablyudatel”, devoted to Pushkin, which came out after the poet’s death. They are presented by a critical analysis of the journal “Sovremennik” with its interpretations of Pushkin’s last works and a little known poem by an Azerbaijani writer Mirza-Fatkh-Ali Akhyndov “On Pushkin’s death” (1937), a work of deep contents and original imagery.

Key words: comment, Eastern poetry, aphoristic form.

УДК 82-6

Спицына Л.А.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭПИСТОЛЯРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ХОВЕЛЬЯНОСА*

Аннотация. Статья посвящена творчеству испанского писателя XVIII века Бальтасара Гаспара Мельчора Марии Ховельяноса. В ней рассматривается эпистолярное наследие испанского писателя. Ховельянос был одним из первых, кто отошел от привычных испанской литературе форм письма, в котором на первом месте стоял эмоционально-личный аспект. По этим причинам одни письма относятся к дневникам, а другие к художественным произведениям. Ховельянос усложняет свои произведения, включая в них комментарий и анализ текстов других жанров. Именно этот прием развивают испанские писатели

XIX, а затем и XX веков.

Ключевые слова: письмо, путешествие.

В творчестве выдающегося испанского мыслителя, политического деятеля, юриста и писателя Бальтасара Гаспара Мельчора Марии Ховельяноса эпистолярная литература занимала важное место. Он был одним из первых, кто отошел от привычных испанской литературе форм письма, в котором на первом месте стоял эмоционально-личный аспект. Ховельянос усложняет свои произведения, включая в них комментарий и анализ текстов других жанров. Именно этот прием развивают испанские писатели XIX, а затем

* © Спицына Л.А.